

Лауреаты
Международного
конкурса
имени Сергея
Михалкова

Ирина Дегтярёва

Цветущий репейник

Лауреаты Международного
конкурса имени Сергея Михалкова

Ирина Дегтярева
Цветущий репейник (сборник)

Издательство «Детская литература»

2011

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Дегтярева И. В.

Цветущий репейник (сборник) / И. В. Дегтярева — Издательство «Детская литература», 2011 — (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова)

ISBN 978-5-08-005405-1

Герои И. Дегтярёвой – подростки из российских городов и поселков, из семей благополучных и не очень... Все они находятся на пороге взрослой жизни и сталкиваются с обстоятельствами, которые заставляют их иначе взглянуть на окружающих и самих себя. Заставляют меняться... Автор не предлагает готовых рецептов, не выносит окончательных приговоров, обходится без назойливого морализаторства, как бы приглашая читателей вместе подумать над проблемами своих героев. Для старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-08-005405-1

© Дегтярева И. В., 2011
© Издательство «Детская
литература», 2011

Содержание

О конкурсе	6
Цветущий репейник (рассказы)	7
Предисловие	7
Пламя на снегу	8
Вечный дождь	21
Рокировка	30
Отзвук в пустоте	37
Конец ознакомительного фрагмента.	39



Ирина Дегтярёва

Цветущий репейник (сборник)

© Дегтярёва И. В., 2011

© Рыбаков А., оформление серии, 2011

© Михалина Е. В., иллюстрации, 2011

© Макет, составление. ОАО «Издательство «Детская литература», 2015

О конкурсе

Первый Конкурс Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков был объявлен в ноябре 2007 года по инициативе Российского Фонда Культуры и Совета по детской книге России. Тогда Конкурс задумывался как разовый проект, как подарок, приуроченный к 95-летию Сергея Михалкова и 40-летию возглавляемой им Российской национальной секции в Международном совете по детской книге. В качестве девиза была выбрана фраза классика: «Просто поговорим о жизни. Я расскажу тебе, что это такое». Сам Михалков стал почетным председателем жюри Конкурса, а возглавила работу жюри известная детская писательница Ирина Токмакова.

В августе 2009 года С. В. Михалков ушел из жизни. В память о нем было решено проводить конкурсы регулярно, каждые два года, что происходит до настоящего времени. Второй Конкурс был объявлен в октябре 2009 года. Тогда же был выбран и постоянный девиз. Им стало выражение Сергея Михалкова: «Сегодня – дети, завтра – народ». В 2011 году прошел третий Конкурс, на котором рассматривалось более 600 рукописей: повестей, рассказов, стихотворных произведений. В 2013 году в четвертом Конкурсе участвовало более 300 авторов.

В 2015 году объявлен прием рукописей на пятый Конкурс. Отправить свою рукопись туда может любой совершеннолетний автор, пишущий для подростков на русском языке. Судят присланные произведения два состава жюри: взрослое и детское, состоящее из 12 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Лауреатами становятся 13 авторов лучших работ. Три лауреата Конкурса получают денежную премию.

Эти рукописи можно смело назвать показателем современного литературного процесса в его «подростковом секторе». Их отличает актуальность и острота тем (отношения в семье, нахождение своего места в жизни, проблемы школы и улицы, человечность и равнодушие взрослых и детей и многие другие), жизнеутверждающие развязки, поддержание традиционных культурных и семейных ценностей. Центральной проблемой многих произведений является нравственный облик современного подростка.

В 2014 году издательство «Детская литература» начало выпуск серии книг «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». В ней публикуются произведения, вошедшие в шорт-лист конкурсов. Эти книги помогут читателям-подросткам открыть для себя новых современных талантливых авторов.

Книги серии нашли живой читательский отклик. Ими интересуются как подростки, так и родители, библиотекари. В 2015 году издательство «Детская литература» стало победителем ежегодного конкурса Ассоциации книгоиздателей «Лучшие книги 2014 года» в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» именно за эту серию.

Цветущий репейник (рассказы)

Моему брату Андрею посвящается

Предисловие

Вы, наверное, видели, как цветет репейник? Он зацветает только на второй год жизни. Бледно-фиолетовые шарики очень быстро и незаметно превращаются в колючие коробочки семян, которые так и норовят прицепиться к одежде, к шерсти животных. Репейники живучие, стойкие, но назойливые, липучие и всеми не любимые. А ведь в первый год жизни репейники – это мягкие большие листья, лопухи. Их считают полезными, красивыми, немного загадочными... Но лишь до той поры, пока репейник не зацветет.

Так и дети. Маленькие – они мягкие, покладистые, немного загадочные, а в общем, понятные и предсказуемые. Но дети подрастают, зацветают блекло и неярко. Подростки становятся нелепыми: то ноги и руки вырастут длинные, а туловище отстанет, то наоборот. Заметно меняются черты лица, характер, привычки, представления о жизни, которые вертятся, как флюгер, на ветру чужих мнений, книг, фильмов, музыки. После короткого цветения они обрываются колючками нигилизма, цинизма, становятся спорщиками, нервными, эгоистичными. Но это потому, что очень трудно искать свой путь в жизни, выстраивать свое мнение обо всем. Им тяжело. Тем, кто рядом с ними, тяжелее вдвойне. Ведь родители и близкие – люди уже сформировавшиеся. Они не хотят и не могут понять, что рядом с ними цветет другая жизнь, не похожая на эту.

Сложное это время – робкого цветения, возмужания, взросления. В зарослях других трав могут не заметить бледно-фиолетовый цветок и сломать. И только сильные, цепкие, упрямые и задиристые ребята пробьются в жизни, так же как сотни коробочек репейников с семенами. Они цепляются и надоедают с одной целью – бросить семена, заложенные в них природой, выжить, попасть в другие места: на поля, на опушку леса, в палисадник у подъезда, у автобусной остановки – туда, где человек отцепит репейник от юбки, брюк, туристического рюкзака.

В жизни такими «проводниками» для ребят становятся учителя, родители, друзья, а иногда и враги. Чем дольше они сопровождают по жизни своих воспитанников, чем чаще и полнее отвечают на их вопросы, тем дальше и на более плодородную почву бросит семена своего таланта ребенок. Но и «отцепить» от себя, дать прорасти самостоятельно, тоже нужно вовремя.

Выживут и прорастут самые колючие, с характером, за который они часто получают по первое число от учителей и родителей. Станный парадокс: из колючек репейника возникает растение крепкое, красивое, которое неизменно зацветает бледно-фиолетовым цветком, невзрачным, но мужественным и строгим.

Одуванчиковый цвет на асфальтовом поле.

Он мерцает в глубине памяти о детстве.

Летний день. Пустынный двор. Мальчик.

И взгляд в упор. Сонный воздух и кефир в стеклянной бутылке.

Сухая тропа за домом в сквер. Теплый ветер порывом в лицо. И кто-то смотрит вслед в одуванчиком венке, словно из прошлой жизни.

А может, это и был сон в тихом мирке детства?

Теплый мираж, один из тех, что снятся нам и проливаются горячими слезами старости и одиночества на подушку.

Пламя на снегу



Скрипичный голос тонкий. Под давлением неумелой руки, зажавшей смычок, этот голос становится писклявым, по-стариковски дребезжащим, ворчливым. Вибрирует, прорастает кошащим мяуканьем сквозь стены к соседям, сквозь оконные стекла на осеннюю улицу. Он сливается с монотонностью дождя и осенней скукой. Соседи, измученные затяжной осенью и скрипкой, выстукивают аккомпанемент по батареям, но Гешка только сильнее стискивает смычок, так, что пальцы сводит от напряжения, и пилит, пилит... Ведь музыка, как и труд, облагораживает человека. Гешке это известно.

Ему неизвестно, за что на него свалилось такое несчастье – старинное, солнечно-коричнево-лакированное – и как от него избавиться.

Гешкиному отцу, машинисту электрички в метро, приобретение скрипки, конечно, было не по карману. Но тут, на Гешкину беду, в процесс культурного воспитания вмешался дед.

Дед – высокий сутулый старик, отставной морской офицер. Он носил шелковые шейные платки и перстни. Пальцы у него такие белые и сухие, будто их присыпали тальком. Дед женился на молодой, деловой и богатой. После этого перстней на пальцах прибавилось, а шейные платки стали еще разнообразнее.

А Гешка четыре года назад стал обладателем скрипки, десятки раз ломанной и чиненной, зато старинной. В восемь лет начинать учиться играть на скрипке уже поздно, но Гешку впрягли в узду, свитую из скрипичных струн, оплели, как паутиной, конским волосом смычка и бесконечным стоянием перед металлическим складным пюпитром – подставкой для нотных альбомов.

Четыре года Гешка ждал, что его «музицирование» надоест отцу и всей семье. Но семейка подобралась такая, что надежды Гешки таяли день ото дня. Кроме отца и Гешки в трехкомнатной жили три холостых отцовых брата, Гешкины дядьки. Один – милиционер-гаишник, другой – таксист, третий – художник.

Таксист, дядя Саша, возвращаясь с работы, либо ругался с гаишником, дядей Женей, если тот оказывался дома, либо лежал в своей комнате, включив магнитофон с блатными тюремными песнями. Художник, дядя Федя, почти все время уезжал на этюды и в редкие приезды, опухший и красный, наверное от долгого стояния у этюдника на свежем воздухе, ложился спать. И храпел с утра до вечера, не прислушиваясь к Гешкиному скрипичному концерту. А через несколько дней снова укачивал «созерцать и творить», как он сам часто любил повторять.

В его отсутствие дядя Женя, если не ругался с дядей Сашей, приводил в свою комнату девушек. Тогда он вручал Гешке двадцать рублей и выпроваживал его из квартиры. С этими «командировочными» Гешка улепетывал от скрипки, и у него начиналась настоящая жизнь. Она принадлежала лишь ему, с тайнами и головокружительной самостоятельностью. Не той самостоятельностью, когда приходишь в пустой дом, разогреваешь обед, ешь его в одиночестве,

идешь в магазин за хлебом и молоком, хотя тебя никто не понукает. А вернувшись, так же, без понуканий, подступаешься к ненавистной скрипке. Эти обязанности не давали ни свободы, ни самостоятельности. Гешка знал, что он будет в следующий момент делать, и тосковал в каждый такой момент.

Он выходил на улицу, проходил под горбатым мостом через деревянные выщербленные щиты, проложенные между рельсами у депо, огибал стаю патлатых одичавших собак с усталыми, злыми и умными глазами. И только когда Гешка видел ветки уже близкого леса за обшарпанным, уныло длинным зданием депо, он чувствовал запах мазута, леса и свежести – запах путешествий, неизвестности и свободы.

Но сегодня дядя Саша дежурил и никто Гешку не отпускал гулять, а значит, после посещения музыкальной школы надо было пилить и пилить кубометры соседских нервов и собственного терпения. И Гешка успешно справлялся с задачей, вперившись в телевизор поверх грифовой фиги, которую ему тыкала в нос неподатливая скрипка. В телевизоре потные, азартные хоккеисты носились за шайбой и не засоряли свои головы под блестящими шлемами ни скрипками, ни уроками.

Гешка засмотрелся на особенно агрессивную атаку канадцев и даже отложил скрипку на кресло. Замер с приоткрытым ртом. Лицо у Гешки почти что квадратное, угловато-скуластое, под глазами полукружьями присыпано коричневыми веснушками. Веснушки оттеняли бежевые, чуть раскосые, сердитые глаза. Да и вся фигура Гешки была угловатая и сердитая, встречающаяся, как его черные с каштановыми подпалинами лохмы, криво подстриженные отцом.

– Ну! Ну! – закричал Гешка, потрясая сжатыми кулаками. – Держи! Ну! Ах ты... Дырка! – обозвал вратаря Гешка и плюхнулся в кресло.

* * *

Гешка проверил задвижку на двери кладовки и забрался с ногами на старую галошницу. В пыльной темноте маленького помещения он чувствовал себя спокойно и защищенно. Что бы или кто бы ни бушевал там, за дверью, крошечный кладовочный мирок в очередной раз укрывал Гешку. Делал незаметным, микроскопическим, как тысячи пылинок, летающих вокруг и оседавших на старые пальто на вешалке, на дяди-Женины форменные запасы – огромные сапоги, валенки, ботинки, толстые комбинезоны, куртки и бушлаты для стояния на морозном посту. На гвоздике даже висел полосатый гаишный жезл и тяжелая внушительная дубинка из тугой монолитной резины. На верхней полке, над вешалкой, в картонной коробке лежали стеклянные лампочки, а среди них затерялась пара свистков, тоже дяди-Жениных. Они старые, пластмассовые и словно живые. Если в такой свисток дунуть, то пальцами ощутишь вибрацию маленького шарика внутри, который начинает бешено метаться от стенки к стенке, как живое существо, с писком и визгом, из боязни, что его выпихнут сильным дуновением из пластмассовой каморки. Теперь у дяди Жени свисток большой, металлический, как у футбольных судей, блестящий, но не живой.

Почти что все вещи в кладовке лежали и стояли здесь многие годы без дела, в пыли и тишине. Их не выбрасывали, потому что некоторые были даже совсем новые, но и не носили, не использовали.

Гешка поерзал. Вот его скрипка была старая-престарая. Ее бы надо в кладовку. А сейчас и вовсе на свалку. Гешка снова поерзал. Сидеть было больно.

...Скрипка ведь сопротивлялась, когда он на нее сел, вонзалась в Гешкино мягкое место струнами, а потом и острым обломком деки – фигурно вырезанной дощечки, поддерживающей струны. Гешка уселся в кресло, как будто забывшись, но сам-то прекрасно осознавал, *что* лежит в кресле.

Гешка и не встал с нее сразу. Вроде бы и ноги ослабли от ватного ужаса содеянного, но, однако же, он смог придавить скрипку еще пару раз костлявым задом и услышал немелодичный хруст грифа и скрипичного тела, такой пронзительный, что мурашки побежали за ушами.

– Что же ты наделал, дрянь ты эдакая?! – раздался за дверью кладовки ожидаемый вопль отца. – Выходи сейчас же, слышишь?

– Я на нее случайно сел. Что я, виноват?

– «Случайно сел»! Да ты у меня теперь месяц не сядешь. Выходи! Или я не знаю, что с тобой сделаю! – Отец подергал дверь.

Гешка зарылся в душевые пальто и молча ждал.

– Ты хоть знаешь, сколько эта скрипка стоит, болван? Дед же меня за нее съест. – Отец кричал уже не яростно, а в порядке размышления о своей и Гешкиной судьбе.

– А я не просил его скрипку покупать!

– Значит, ты нарочно на нее сел! – обличительно возопил отец.

– Да чего ты прицепился к парню?

Гешка узнал голос дяди Саши и даже как будто почувствовал запах бензина, кожаной куртки и табака, который всегда сопровождал его. Гешка представил, как он, невысокий, сутуловатый, тщедушный и чуток пучеглазый, смотрит снизу вверх на высокого Гешкиного отца.

– Ну какой из Гешки скрипач? Ты можешь представить его во фраке? Лучше бы на баяне играть учился.

Гешка прильнул к двери, чтобы услышать отцовскую реакцию.

– А, ты хочешь, чтобы он блатные песни в подворотне орал? Это, по-твоему, ему больше подходит? Ты мне его с пути не сбивай!

– Ну чего теперь, его убить за эту скрипку? – Гешка живо представил, как дядя Саша развел руками – ладони у него были серые от въевшейся машинной грязи.

– Убивать его никто не будет. – Отец явно повернулся к двери кладовки, чтобы Гешка лучше слышал. – Но хорошего ремня он у меня получит. Геннадий, выходи немедленно!

Гешка промолчал. Подложил под спину бушлат дяди Жени и капитально устроился для долгого сидения.

* * *

Проснулся Гешка в темноте. Света под дверью кладовки он не увидел.

– Главное, не выйти раньше времени, – прошептал Гешка и приоткрыл дверь.

Громко в ночной тишине тикали часы на кухне. Дядя Женя сопел в своей комнате сочно и умиротворенно. В комнате дяди Саши еще горел свет, и слышалось «бум-ца-ца» очередной блатной песни, но и дядя Саша наверняка уже спал, усыпленный однообразными ритмами.

Гешка прокрался на кухню. В лунном свете нашел кусок хлеба, налил в стакан воды и уселся на скамейку под окном. Воду в стакане луна окрасила в фосфорически-лимонный цвет. Хлеб только на вкус и запах оставался хлебом, а на вид напоминал обрывок мочалки, висевший на крючке в ванной комнате.

Гешка жевал мочалкообразный хлеб, запивал лунным соком и заворуженно смотрел в окно на красно-желтые огни на железной дороге. Там ревели сирены электровозов, будто стадо слонов трубило в джунглях, призывно, раздраженно. И там же, за ангарами и путаницей рельсов, Гешкина тайна тоже все слышала и настороженно-пристально смотрела в темноту.

В кухне вспыхнул свет и ослепил Гешку своим отражением в оконном стекле. Гешка даже закрылся рукой.

– Ты ел?

Отец был заспанный. Но его усы, напоминавшие медную проволоку и по цвету и по жесткости, сейчас топорщились, и казалось, что отец вот-вот зашипит и фыркнет, как рассерженный кот.

Гешка показал зажатый в кулаке кусок хлеба.

– Я разговаривал с дедом. – Отец зевнул. – Он дал адрес мастера. Завтра с утра поедешь чинить скрипку.

– А школа?

– Вместо школы. Иди спать. Чего ты здесь высиживаешь? Сам не спишь и другим не даешь.

Отец подошел и с досадой ткнул кончиками пальцев Гешку в лоб.

– Скрипач!

* * *

Дождь нагнал сумерки. Начался на рассвете, залив луну и расплавив ее в блеклый, мутный свет, замаравший небо. Дождь все еще накрапывал, когда Гешка, собрав изломанную скрипку в футляр, вышел из дома.

Свежая дождевая морось облепила лицо, и Гешка улыбался унылому дождю, ведь он проявит Гешкину тайну.

Горбатый мост, размокший настил перехода через рельсы – здесь всегда порывистый, пронизывающий ветер, стая собак, мокрых, дрожащих, прижавшихся друг к другу и сгрудившихся вокруг теплого канализационного люка.

За ангаром и дырявым бетонным забором – дорожный тупик, где плотно стояли фуры дальнобойщиков. Дымил сырой костер под закопченным котелком. За ним никто не приглядывал. Дальнобойщики попрятались в кабинах своих фур, облепленных грязью. Оконные стекла в кабинах запотели, и Гешка никого не мог разглядеть внутри. Да ему и не хотелось видеть эти обросшие щетиной, угрюмые, диковатые лица. Он боялся этих людей и норовил проскользнуть в лес мимо машин незамеченным.

Опушку леса эти дальнобойщики изрядно замусорили. Под деревьями валялись банки стеклянные, консервные, пластиковые, бумажки, тряпки, автомобильные шины и ржавые машинные детали. Полиэтиленовые пакеты висели на ветках и хлопали, шуршали, надувались на ветру, издали напоминая бледные шляпки поганок.

Зато дальше лес грузнел, мрачнел и вытеснял мусор своей суровой непролазностью, небывалой, удивительной, учитывая соседство и с депо, и с городом. Он не пускал дальше десятиметрового предлесья ни дальнобойщиков, ни случайных бомжей. И только Гешка безбоязненно ввертывался в лесную глубину и мог оставаться там сколько угодно.

Гешка сунул скрипичный футляр под мышку и сел на корточки. В размягченной дождем земле отпечатался след. Такой свежий и четкий, что можно было различить кожисто-капиллярный рисунок каждого круглого пальчика. След напоминал отпечаток собачьей лапы, но Гешка знал, чей это след.

Гешка проворно огибал деревья и уворачивался от еловых веток, норовивших усыпать его градом дождевых капель. Наконец лес стал таким дремучим и густым, что и почва в этой глухомани была почти сухой. За грудой поваленных деревьев земля резко скатывалась в обрыв, и кто не знал об этом, мог тут переломать себе все кости. Гешка же, потихоньку забирая влево, по корням, как по ступеням, спустился в овраг.

На противоположном склоне, нависавшем грозно, как нахмуренная бровь великана, над дном оврага, торчали два замшелых еловых ствола, и их узловатые корни создали арку, вход в нору, природную землянку. Туда Гешка юркнул, вначале пошумев перед входом – покашляв и похлопав в ладоши. Зажженная им свеча задрожала теплым желтым пламенем, осветила сухие

стены норы, в которых были вырезаны ниши, устланные мхом. В них лежали фонарь, связка свечей, завернутых в тетрадный листок, толстая тетрадь в полиэтиленовой обложке, растрепанная и до половины исписанная, тут же были эмалированная оранжевая кружка, бинокль, нож в кожаном чехле, спички в непромокаемом пакете, кастрюлька и закопченный чайник с погнутым носиком. Здесь у Гешки находилось все, что бывает в охотничьих домиках, все необходимое, чем действительно Гешка пользовался. Здесь не хранились мертвые вещи, как дома, в кладовке.

В глубине норы Гешка соорудил топчан из бревен, мха и сена. Миска, которую он оставлял у входа, блестела вылизанной чистотой.

В этом лесу жил лис. Он появился две недели назад. Гешка как раз пришел в свою нору и разлегся на деревянном топчане, с мечтами о том, как избавиться от скрипичной нагрузки. В землянке горела свечка, и в ее поверхностном свете, который не пронизывал темноту насквозь, а только чуть рассеивал сумрак, Гешка увидел у входа животное.

Сперва он принял его за бродячую собаку. Но тут же понял, что это другое, совсем другое, то, чего он раньше не видел вот так близко, в трех метрах от себя.

Лис, старый, с седыми пятнами вокруг острых ушей, с поджатой левой передней лапой, с острой крупной мордой, стоял неподвижно и пристально смотрел на Гешку.

Мальчик совсем не боялся. Он ничего не боялся в своем лесу. Гешка лежал и так же пристально смотрел на старого лиса, и чувства лиса как будто перетекали в него, передаваясь с волнами теплого рассеянного свечного света. Усталость и боль в изломанной лапе, голод, желание остаться в теплой норе и досада оттого, что тут уже занято. Лис повернулся, припрыгивая на трех лапах, и исчез.

Гешка не вскочил, не побежал за ним. Лису не понравилась бы такая слежка. Но с этого дня Гешка стал оставлять в миске у входа в нору то котлету, то сосиску, то кусок колбасы. И все эти подношения пропадали до его следующего посещения норы. Лис принимал дары, оставляя следы, которые Гешка с легкостью отличил бы от любых других. И не только потому, что на влажной земле отпечатывались лишь три лапы, но и потому, что один из пальцев здоровой передней лапы был когда-то рассечен пополам то ли острым сучком, то ли осколком бутылки.

* * *

Серый пятиэтажный дом с аркой наводил тоску. Здесь Гешке должны были вернуть скрипичную повинность. Уже на лестничной клетке он почувствовал сладковатый запах лака и услышал звуки скрипки и собачье тьяканье. Гешка развеселился, представив себе, что мастер играет на скрипке и тьякает. Наверное, ему тоже ужасно надоела игра на скрипке.

Мастер открыл дверь, и Гешка увидел, что лицо у него вполне человеческое, румяное, с клокастой белоснежной шевелюрой, напомнившей Гешке портрет Эйнштейна из кабинета физики. Нечеловеческое лицо было у лохматого пекинеса, который носился по узкому коридору и весело гавкал.

– Проходи. – Мастер пропустил Гешку в квартиру. – Ты Гена? А я Мефодий Кузьмич. Где пострадавшая?

– Кто? – Гешка с испугом огляделся. – Я один.

– Скрипка твоя пострадавшая, – улыбнулся мастер, глядя на Гешку поверх узких длинных стеклышек очков.

Он осмотрел раздавленный инструмент и покачал головой.

– Мог просто отказаться от занятий музыкой. Скрипку-то зачем калечить, тем более такую. Эх ты!

– Я случайно, – пробормотал Гешка. – Вы ее почините?

– А ты небось надеешься, что я не справлюсь? Нет, голубчик, я почти пятьдесят лет скрипки чиню. Не могу видеть, как работу мастера приводят в такое состояние.

Мефодий Кузьмич положил Гешкину скрипку на верстак среди стамесок, молоточков, жутковатого вида крючков и других инструментов. Она легла на пружинки и завитки стружек, поджав сиротливо изломанный гриф.

Гешке вдруг стало страшно. Невыносимо захотелось забрать отсюда скрипку.

– Через две недели придешь. – Мастер сунул Гешке в руку какую-то квитанцию и выпроводил. – Мне работать надо.

* * *

Гешка стоял с пустым футляром от скрипки на автобусной остановке в плотной молчаливо-мрачной толпе, ждущей и жаждущей автобуса.

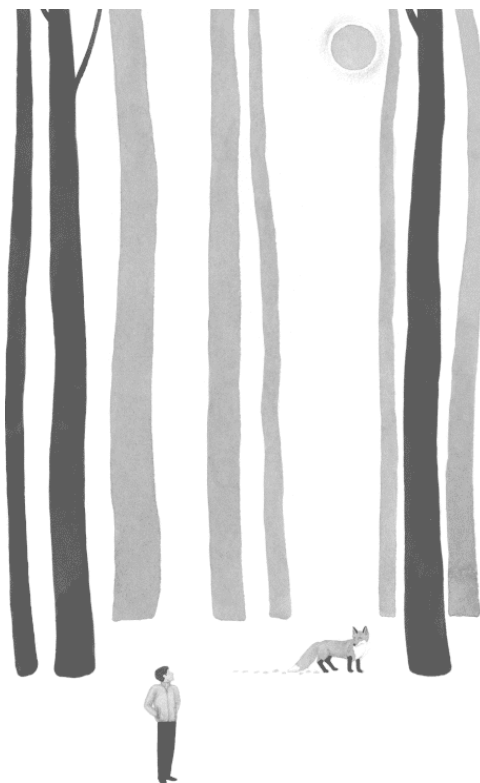
В городе Гешка всегда остро чувствовал одиночество. Он любил быть один, но в городе, среди людей, накатывала тоска, от которой хотелось бежать под горбатый мост, мимо депо и собачьей стаи, в лес, притулившийся к городу. Городу, где среди множества людей жило одиночество.

Гешка не пошел домой и опять очутился в лесу, в своей землянке – норе, отделенной от всего мира толщей земли, прошитой и укрепленной корнями двух елок.

Из толстых корней внутрь землянки свешивались тонкие белые корешки в поисках воды и нового места для существования, где они могли толстеть и крепнуть, превращаться в подземные деревья, сравнимые с наземными по толщине и мощи.

Эти бледные нити корней, обросшие корешками, как щупальцами, Гешка любил трогать. Вот уж чего суровые ели не ожидали – так это что под землей сидит кто-то и щекочет их корни. И суровые ели содрогались от смеха и роняли шишки.

Гешка вытянулся на топчане. От сена и мха пахло солнечной поляной и медом. Мальчик улыбался. Мысли текли неторопливо в подземной тишине. Он оглядел свою нору и пожал плечами.



«Какое может быть одиночество? Особенно здесь, в лесу, где все само по себе, отдельно друг от друга, и не страдает от этого», – думал Гешка.

А отец твердил ему, что надо дружить с ребятами, что у Гешки совсем нет друзей и оттого он хмурый и нелюдимый.

«Почему деревья не называют нелюдимыми, то есть они, конечно, не люди, но и не дружат они друг с другом так, как люди себе это представляют. Если думать как отец, то все должны быть в группах. А как же Земля? Луна? Другие звезды и планеты? Они ведь все живые, но находятся друг от друга далеко. На расстоянии тысячи световых лет. Значит, все в мире и даже во Вселенной одиноки. Или, наоборот, не бывает одиночества, а его придумали люди. Зачем? Может, потому, что они такие существа, которые не могут жить поодиночке? Но я могу! Ведь мне лучше, когда я один, вот так, как теперь. – Гешка снова оглядел с улыбкой свою нору. – Но у меня все-таки есть отец, дядьки... Я не совсем один. Хотя мы редко бываем вместе и почти не общаемся. То они на работе, то очень устали, то сердятся. Раньше мне хотелось, чтобы они все время были со мной, играли, разговаривали. А сейчас я уже этого не хочу. Наверное, раньше я был слишком маленький, слабый и беспомощный, и мне нужна была их компания, а теперь я вырос и хочу быть один... Как человеку может быть скучно с самим собой? Ведь в голове все время есть мысли, которые можно обдумывать, есть воспоминания и мечты. А как сидели узники в одиночных камерах тюрем? Совсем одни. Правда, некоторые сходили с ума, наверное, потому, что слишком много думали и терялись в путанице своих мыслей... Зимой обещают снежную. Как бы вовсе не засыпало овраг и мою нору».

В прошлом году снега почти не было, и Гешке удавалось пробраться в нору. Он не мог попасть сюда только в весенние месяц-полтора, когда по склонам и дну оврага текла мутная талая вода, подкрашенная рыжеватой овражной глиной.

Зимой Гешка разжигал у входа костерок из сухих веток, запасенных с лета и сложенных в нише под потолком. Снег вокруг костра таял, плыл в сторону и смерзался пористой слоистой коркой там, куда не доставал жар.

От костра странно пахло илом и грибами. Зимний костер жадно поглощал дрова – бесценный небольшой летний запас, хрустел еловыми шишками, глотал целиком тонкие веточки и долго, с наслаждением, как карамельку, облизывал и смаковал толстые сучья.

Гешка тосковал по зимнему костру, этому слиянию холода и огня, столкновению противоположностей, которое не вызывало взрыва, но из которого возникала вода... или слезы.

* * *

В коридоре Гешка наткнулся на потрепанный рюкзак и заляпанный масляной краской этюдник. Дядя Федя приехал. С кухни плыли табачные облака и пар от варившейся картошки. Пахло селедкой и луком. Отец зажег свет в коридоре и высветил Гешку в полной красе землепроходца.

– Да где же ты опять так вывалился? – Отец хмурился. Его такие же бежевые, как у Гешки, глаза сузились, и веснушки на щеках утонули в сердитых морщинках. – Ты мне назло это делаешь? Ну, что молчишь? Скрипку отнес?

Гешка кивнул.

– Ремонт в копеечку влетит.

– Не надо ее чинить. Я все равно не буду больше заниматься, – наклонив голову, негромко сказал Гешка.

Но отец и не слушал его.

– Я сегодня заехал в твою музыкальную школу, и Клавдия Сергеевна дала тебе скрипку из фондов школы, пока нашу не починят. Так что тебе будет чем сегодня заняться. Приведи себя в порядок. – Отец брезгливо, двумя пальцами, взялся за испачканный край Гешкиной куртки. – Поешь и иди заниматься. Тебе, кстати, еще и уроки делать. Шляешься неизвестно где целый день. Вот скажи, где ты был?

– Гулял.

– Где, интересно, можно так изгваздаться, гуляючи? Опять один бродил? Все ищешь на свою голову приключений. – Отец сам снял с Гешки куртку. – Небось снова около депо ошивался?

– Я никогда там не ошиваюсь! – вдруг вспыхнул Гешка.

– Не кричи! Тебя там видели, и не один раз. Кончится тем, что под поезд попадешь. Не смей туда ходить! Слышишь?

– Не глухой, – еще более распалился Гешка.

– Ты что-то совсем распустился, – скорее удивленно, чем возмущенно, заметил отец.

– Хватит ворчать! – Из кухни выглянул краснощекий дядя Федя. – Дай мальчишке хоть дух перевести, а то накинуся с порога. Племяш, пошли картошку лопать, потом мои новые картины посмотришь. А то я завтра часть на Арбат отнесу, а часть в галерею.

Гешка пилил на новой скрипке, и голос ее по-другому был скрипуч и протяжен. Он ныл, отдаваясь в висках, из-за нарочито грубых движений смычка, поскуливал, как соседская такса. Дядя Федя заглянул в комнату с обиженным выражением лица.

– Генка, ну ты что? Я жду, жду, а он тут на скрипочке пиликает. Не будешь мои картинки смотреть, так и скажи.

– Буду.

Дядя Федя тут же проскользнул в комнату с большой черной папкой под мышкой. Гешка с улыбкой отложил скрипку и приготовился смотреть на почти одинаковые пейзажи – горы, закат, розовый или фиолетовый снег, занесенную снегом охотничью избушку. Такие картины хорошо покупались в сыкотной Москве, и, чтобы писать их с натуры, дядя круглый год ездил туда, где снег.

Гешка, сучая, рассматривал картины с однотипным сюжетом. Картины для заработка.

– Вот еще эту посмотри. – Дядя Федя протянул Гешке небольшую картину.

Гешка опешил. На картине были крупные стволы берез с надорванной корой. Такие живые и так близко, что казалось: протяни руку – и ощутишь шероховатость этих стволов, а под пальцами зашуршат телесного цвета пленочки бересты. И не сразу на оранжеватом фоне осеннего леса, в тени между березами, Гешка различил лисью морду. Лис смотрел из полутени пристально, устало. Картина дышала одиночеством и загнанностью, будто и не на Гешку лис глядел, а на охотника перед метким последним выстрелом. И только потом кислый пороховой дымок рассеется в воздухе и ничего не будет. Пустота.

Гешка сел, продолжая неотрывно глядеть на картинку. И лишь когда под ним что-то мелодично и уже знакомо хрустнуло, он опомнился. Вскочил, нелепо взмахнул руками и устоял на раздавленную скрипку.

Дядя Федя нервно и растерянно усмехнулся.

– Ну ты, брат, даешь!

Гешка метнулся в коридор, к двери спасительной кладовки. Картину с лисом он так и не выпустил из рук. Вбежал в кладовку. Привычным движением пошарил в темноте, но задвижку не нашел. Отец ее просто-напросто отвинтил. Гешка, безмолвный, с каменным лицом, вышел из кладовки и заплакал. Тихо и беспомощно.

Из своей комнаты на шум выглянул дядя Саша, с кухни прибежали отец и дядя Женья. Дядя Федя стоял рядом с Гешкой, пожимая плечами в недоумении. Он шепнул отцу о том, что случилось.

– Что же это такое? – возмутился отец. – Он же еще рыдает. Впору мне и деду рыдать.

– Он случайно. Я видел, – вмешался дядя Федя.

– А колбасу он тоже случайно украл? – возмутился дядя Женья.

Он был самым полным в семье, краснощеким, пухлогубым и становился еще круглее в форменной куртке гайшника и толстых теплых штанах. Сейчас дядя Женья был помидорно-красным и продолжал багроветь, наливаясь свекольным жаром.

– Какую колбасу? – Отец покрутил головой, будто пытался стряхнуть наваждение. – То скрипка, то колбаса... Ну, может, кто ее съел?

– Ага, почти два кило. – У дяди Жени сделались круглые глаза от злого возмущения. – Там два батончика в пакете лежали.

Гешка добавил в плач поскуливание человека, загнанного в угол несправедливыми обвинениями.

– Что тебе, колбасы для парня жалко?! – Маленький дядя Саша пошел в наступление на дядю Женю. – Куплю я тебе колбасы сколько хочешь. Скупердй! Взятчик! Шоферов грабишь.

– А ты хоть раз видел, чтобы я взятки брал? – У дяди Жени на щеках появился даже синюшный, баклажановый оттенок.

– Опять двадцать пять... – выдохнул дядя Федя. – Сколько можно ругаться? Вы еще подеритесь, непримиримые. Ребенок плачет, а вы за свое.

– Этого ребенка давно приструнить пора, – подвел итог дядя Женья. – Хулиган растет. Сейчас он скрипки ломает, колбасу ворует, а завтра что?

Гешка сквозь слезы заметил, что отец сдерживает улыбку, дядя Саша откровенно фыркнул, а дядя Федя с непроницаемым лицом ответил:

– А завтра он раздавит виолончель и украдет окорок.

Гешка улыбнулся, потирая кулаками глаза.

– Давайте-ка все спать, – решил отец. – Половина одиннадцатого. Всем завтра рано вставать.

На Гешку отец и не смотрел, но мимоходом потрогал его лоб.

* * *

Миска была пуста. И свежие следы лиса Гешка углядел на спуске в овраг. Ему сразу стало легче и теплее на душе. Лис не ушел, и он, Гешка, ему нужен.

Гешка не пошел в школу. А прямо из дома помчался к себе в нору. Бросил в миску котлету, оставшуюся от завтрака, улегся на топчан и снова заплакал. Гешка не знал, почему текут слезы. Он никогда не плакал в своем подземном мирке.

Утром дядя Федя пошел продавать картины. И хотя Гешка просил оставить ему картину с березками и лисом, дядя Федя и ее спрятал в папку, нахмурился и в сердцах даже хлопнул дверью.

Гешка вытер глаза и сел. Сейчас в школе информатика. В компьютерном классе всегда холодно и пахнет озоном. Салатовые шторы изворачиваются спиралями от сквозняка и скребут металлическими кольцами по металлической проволоке, на которой висят. Гешка сегодня бы начал новую тетрадь с синей обложкой. Он всегда любил начинать тетрадку. На первой странице ручка писала мягко и аккуратно, потому что под первой страницей покоилась вся тетрадь целиком. А потом лист приходилось переворачивать, и ручка начинала выводить твердые дрожжащие каракули, ведь под листом и тонкой обложкой оказывалась выщербленная школьная парта.

«Так и в жизни, – раздумался Гешка. – Один день как новый лист – мягкий, удобный, счастливый, а на следующий день (перевернутый лист!) все пасмурно, не ладится и такое шершавое, как старая школьная парта. В середине тетради писать одно удовольствие: того, что исписано, и того, что еще не тронута, – поровну. И в конце снова удобно писать через раз, через страницу. А потом тетрадка заканчивается, хотя казалась такой толстой, что не испишешь никогда. Так и жизнь – кончится внезапно, хотя думаешь, что она бесконечная и кто-то вот-вот придумает таблетки от смерти. Мама, наверное, тоже так думала и все равно умерла».

Гешка вышел из норы, присел на бревно. Слабой холодной пылью оседал на землю дождь. Склоны оврага блестели, как лакированные бока скрипки, на которой Гешка никогда больше не будет играть.

«Пусть хоть на куски режут, – подумал он. – Лучше она у Мефодия Кузьмича останется. Он ее не обидит. А я здесь насовсем останусь».

Гешка стал смотреть на небо – молочно-белое, предснеговое. Из рта уже шел морозный пар, и пальцы покраснели и застыли.

«Зима будет долгой, – размышлял Гешка. – Есть мне станет нечего. Запасов надолго не хватит. А на одних сухарях ноги протянешь. Значит, я не могу жить один, без отца, без дядек? Но если бы хватало еды, я бы остался один? Как же выживает лис? Ведь я недавно начал его подкармливать. Наверное, он находит объедки на городских помойках. Но я не смогу брать еду из помоек. Выходит, я должен жить с людьми, как те собаки в стае, чтобы выжить. И зачем такая жизнь, раз я не свободен? А свободен ли отец, дядя Федя? Они зарабатывают, могли бы жить одни. Но живут все вместе. Почему? Любят друг друга? Дядя Саша с дядей Женей, похоже, ненавидят друг друга. Ругаются бесконечно. А дядя Федя со своих этюдов все-таки возвращается домой, ему надо зачем-то услышать мое мнение о его картинах. Отец должен жить со мной, раз я его сын. А он ответственный. Да и не бьет меня, только грозит. Как же странно устроена жизнь!»

Гешка поежился. Дождевые пылинки слились в капли. Они падали за шиворот, холодили лицо. Гешка хотел было забраться в нору, когда услышал шорох. Наверху, над оврагом, стоял лис. Мокрый, худой.

– Лис, иди, там котлета, – позвал Гешка.

Лис стоял не шелохнувшись, но и Гешка не двигался. Окаменел. Такой же мокрый и тощий, как лис.

Долго лис не выстоял – видно, почувствовал запах котлеты. Похромал вниз, неловко приседая на зад и подметая скользкую тропу пушистым хвостом. Он обошел Гешку стороной и шмыгнул в нору. Звякнула миска, и лис прохромал мимо Гешки обратно.

На Гешку пахло лисьим духом – мокрой шерстью, котлетой, которую лис дожевывал, и запахом леса, густого, дремучего, – смесь порыжевшей прелой хвои, грибов, земляники, перегнивших листьев и сырости, какой тянет от маленького ручья, с журчанием крадущегося между корнями деревьев в тени и сумраке лесной глухомани. Лис вскарабкался наверх и скрылся в еловой гуще.

Гешка окончательно замерз. Капли дождя от холода в воздухе превращались в кристаллы снега. Снежинки плыли, планировали, оседали на крупные еловые ветви паутиной инея. Гешка забрался в нору. Улегся на топчан. Он укрылся старым дядькиным бушлатом, который удалось перетащить в нору, когда никого не было дома. Гешка повернулся носом к сырой глинистой стене и незаметно для себя уснул.

А проснулся он в темноте. Свечка, горевшая в норе, потухла. В глухой тишине Гешка впервые испугался и темноты, и того, что он совершенно один. Выход из норы был почти не виден.

Гешка скатился с топчана и на четвереньках бросился наружу. А там уже в снегопадение вплелись глубокие осенние сумерки, короткое предисловие к долговязой сырой ночи, которая вот-вот растянется по всему городу и лесу на долгие часы.

Снег застелил дно оврага и сделал склон скользким. Гешка падал и скатывался на дно несколько раз, но с упорством карабкался. Потом он бежал по лесу, вдруг ставшему враждебным и страшным. Домой.

* * *

Дядя Федя сунул Гешку в ванну с зеленоватой водой. Но Гешка и в ней продолжал дрожать, обхватив руками согнутые в коленях ноги. Дядя Федя присел на край ванны.

– Где ты был? Все с ума сходят. Отец в милицию побежал. Сашка по окрестным закоулкам ездит, тебя высматривает. Женька только не в курсе – на дежурстве сегодня. Что же ты?

Гешка молчал. Он не знал, как и что говорить. И стоит ли?

Отец увидел, наверное, Гешкины вещи, брошенные в коридоре. Он распахнул дверь в ванную и остановился, обессиленный, вспотевший, в расстегнутой куртке. Прислонился спиной к косяку. Измученно поглядел на дрожащего в ванне Гешку, резко оттолкнулся от дверного косяка и ушел в глубину квартиры.

Гешка сидел в ванне, упершись подбородком в острые коленки, и смотрел, как по воде расходятся круги от слёз. Мальчик поглядел на тонкий белый шрамик над коленкой. Вспышкой в память вкатилось солнце...

Оно раскалило камни вдоль тропы с камнеломкой, выросшей в щелях между камнями. Мелкие белые цветочки на сухощавых тонких стебельках покачивал соленый ровный ветер. Он катил по тропе опавшие лепестки и стебли, свившиеся в объемные шары.

Пахло йодом, пирожками и горьковатым дымком из ближней шашлычной. Мама бежала впереди. Вон ее белый сарафан в красный крупный горошек. Круглые загорелые плечи и такие же круглые локти с ямочками. Она спешила по серой пыльной тропинке вниз, к морю, где ее ждал отец. А четырехлетний Гешка капризничал в тот день, не хотел никуда идти, садился на землю и ревел. Матери надоело с ним сражаться, и, оставив его одного на дорожке, она быстро пошла вперед не оглядываясь. Гешка смотрел вслед уходившей матери, она вот-вот должна была скрыться за поворотом тропы и исчезнуть... навсегда. Гешка рванул за ней на коротких

пухлых ножках в синих лаковых сандалиях. На повороте, уже видя мамин сарафан, успокоившись, что она не исчезла, он запнулся, упал и рассек коленку о камень. Мать тогда, конечно, вернулась, завязала ему рану носовым платком и дальше понесла его на руках. Однако Гешке потом часто снилось, что за поворотом матери не оказалось. Особенно часто стал сниться этот сон, когда через год мать умерла, внезапно, пролежав в больнице всего три дня.

И солнце разбилось, расплющилось о камни того поворота, и круги по воде в остывающей ванне пошли сильнее.

Отец, видно, никак не мог успокоиться и к Гешке даже не подошел. Вялого, заревавшего Гешку дядя Федя выудил из ванны, обернув в большое мягкое полотенце. Потом он накормил племянника и уложил в постель. Принес что-то в белом конверте и положил поверх одеяла.

– Вот. Оставь себе. Захочешь, я потом и рамку для нее сделаю.

Тоскливая лисья морда глянула на Гешку с картины.

Отец пришел в их комнату только глубокой ночью, когда Гешка должен был уже спать. Но Гешка не спал. Молча таращил глаза в темноту, которую изредка пронзали прожекторы электровозов с железной дороги.

* * *

Гешка брел по знакомой дорожке с неохотой, запинаясь, останавливаясь. Надолго замер под старым горбатым мостом. Его щербатые темно-серые камни, будто в испарине, поблескивали от скудного света, все-таки проникавшего под мрачные своды.

На деревянных мостках, проложенных через рельсы, Гешка снова надолго остановился, пока маневровый с грохотом и лязгом катался взад-вперед, как старый пес, который никак не найдет себе уютное теплое местечко и крутится, обнюхивает, думает.

Лес окутал Гешку стылостью, усыпал судорожным последним листопадом. Летели седые от инея, будто подсахаренные листья, а на земле они лежали, щедро подсолненные пресным снегом. Первый снег в лесу редко таял так, как в городе.

Гешка почти дошел до норы, когда услышал шаги позади себя. Резко обернулся – метрах в двадцати от него стоял отец, в своей синей форменной куртке, хмурый, сосредоточенный.

– Я отпуск взял, – сообщил он. – С тобой побуду. Мы ведь совсем не бываем вместе. Хочешь, поедем куда-нибудь?

Гешка шагнул к отцу, неуверенно махнул рукой себе за спину и вдруг признался:

– А у меня тут тайник. Нора. И еще здесь лис живет. Настоящий, как с картинки дяди Феди.

– Это для него колбаса? – догадался отец.

Гешка кивнул и пошел к норе. Отец с трудом, но спустился за ним следом. Наклонившись, пролез в землянку, где Гешка уже зажег свечу.

Отец мог стоять здесь, только пригнувшись.

– Мрачноватое местечко, – после затянувшейся паузы сказал отец. – Здесь же может земля завалить. Опасно... – Он осекся, посмотрев на Гешку. – Но ты неплохо тут все оборудовал.

– Я не хочу сюда больше приходить. – Гешка смотрел под ноги.

– Тогда заberi свои вещи.

– Пусть тут все так останется.

Гешка потоптался, оглядел последний раз свое убежище и погасил свечу.

Над оврагом дул сухой морозный ветер. Странно, как он проникал в эти лесные заросли. Он щипал щеки, сушил губы и выбивал слезу из глаз.

За опустошенными, безлистными деревьями стала заметна небольшая просека в низине. Гешка никогда раньше не обращал на нее внимания, а теперь увидел в просвете между оголенными ветвями рыжее пятно. Яркое, а потому заметное на свежем снегу.

Гешка с треском продрался к началу спуска в низину. Отсюда просека хорошо просматривалась. Лис уходил. Чуть заметно прихрамывая, но уже не поджимая лапу. Лис, видно, почувствовал на себе чужое внимание, остановился и снова поглядел на Гешку пристальным усталым взглядом, долгим и прощальным, а потом побежал прочь не оборачиваясь.

«Вот так, наверное, уходит одиночество, в которое я не верил, – пришло Гешке на ум. – Уходит, оставляя след с раздвоенным пальчиком лисьей лапы».

– Пап, а если поехать к морю, туда, где мы были с мамой, где камни, тропинка. Там я коленку разбил. Помнишь?

Отец с неохотой оторвал взгляд от убежавшего лиса и с удивлением посмотрел на Гешку.

– Мы с тобой и с мамой никогда не были на море. А коленку ты рассек, когда с велосипеда упал.

– Как же? Но я ведь помню.

Отец положил руку ему на плечо.

– Память иногда подкидывает странные вещи, как будто воспоминание. А на самом деле это то ли мечты, то ли сны... А мы с тобой поедem, куда ты захочешь. И море сейчас еще теплое, доброе.

* * *

Вместо измученной, раздавленной скрипки теперь перед Гешкой на диване лежала преобразившаяся, блестящая. Но и под новым лаком виднелись следы от заросших трещин, как морщинки.

Гешка провел ладонью по шершавым струнам, по изогнутой шее грифа. Ему показалось, что струны вибрируют, дрожат под рукой. То ли от страха, то ли от нетерпения. Гешка положил скрипку на плечо, прижался щекой к ее твердому прохладному телу. И скрипка от его тепла почти мгновенно нагрелась, оттаяла, ожила, и, когда смычок коснулся струн, раздался вдруг не тот скрипучий, неровный звук, от которого сводило челюсть не только у соседей, но и у самого Гешки, а другой, теплый, густой, глубокий, исстрадавшийся, настоящий. От него мурашки пошли по коже. И мелодия звучала не рывками, по нотам, по строчкам, она лилась монолитно, солнечно-грустно. Как ровный ветер, робко трогающий верхушки старых седых елей.

Отец остановился в коридоре, заслушавшись. Дядя Саша выключил в своей комнате магнитофон, дядя Женя отложил газету, которую читал, а дядя Федя, мастеровивший рамку для полюбившейся Гешке картины, чуть не порезался ножом.

Картина стояла у Гешки за спиной на книжной полке, и в спину ему смотрели тоска и одиночество. Они ушли с хромым старым лисом в далекие чужие места. Навсегда ли?

Вечный дождь



Земля под ладонью была теплая и податливо-мягкая. Густо-черная. И цветки с темно-зелеными, а некоторые с желтоватыми листьями казались на ее фоне нанесенными тонким пером по черному бархату. Таких цветов Гурька в своем шахтерском поселке никогда не видел. Там в изобилии росли только «космические» цветы, как называла их мама. Они рассыпались в палисадниках розовыми, красными, белыми, оранжевыми и бордовыми трубчато-лепестковыми цветками на укропистых безалаберных стеблях. «Космические» не требовали особого ухода, так же как «золотые шары», охаживавшие себя в предосеннее лето, вальяжно облокотившись о заборы поселка. В своей нетребовательности они находили место и на поселковом кладбище вместе со свечками розово-фиолетовых мясистых люпинов, отцветавших в начале лета, а в остальное время выстукивающих семенами в черных стручках песню жизни и смерти. В печальной черноте обугленных стручков содержалась жизнь, и она разрывала закаменевшие оковы смерти: стручки разлетались, выпускали шарики семян, которые закатывались в земляные щели и ямки. И еще лето не успевало кончиться, а уже из земли начинали пробиваться ростки.

А тут, в огороде у тети Нади, Гурька увидел совсем другие цветы. Он сразу стал про себя называть их «цветочными баронами».

На высоких толстых ножках шестилепестковыми коронами, то остроконечными, то мягко закругленными, то даже лохматыми, возвышались тюльпаны. Набрав прозрачной росы и дождя в свои короны-бокальчики, тюльпаны выставляли мохнатые рыже-коричневые тычинки над поверхностью воды, где отражалось голубое небо с бледными облаками, такими блеклыми, будто голубизну кто-то немного затер ученической резинкой.

Красные, желтые, с вкраплениями и прожилками рисунка на лепестках, тюльпаны доходили до контраста черного и белого. Гурька долго смотрел на черный тюльпан – такой темно-бордовый, что тот почти сливался по цвету с землей. Отчего-то он вызвал у него замирание, восхищение и страх. Наверное, потому, что цветы не должны быть черными.

А белые и кремовые нарциссы с рельефной трубчатой сердцевинкой, желтой и оранжевой, на таких же толстых крепких ножках, как и тюльпаны, одурманили сладковато-горьким ароматом.

Весна для Гурьки теперь пахла нарциссами, а не привычным едким дымом, который каждый год весенним ветром наносило с горячей свалки на поселок. А если вдруг вспыхивал отвал неподалеку от шахты, к дыму примешивался страх огромного пожара, вселенского, когда дым до неба и ни просвета, ни роздыха. И снег в поселке, где живет Гурька, почти всегда серый, присыпанный угольной пылью.

...Вдоль дорожки росли примулы. Они встретили Гурьку яркими махровыми и даже многоярусными россыпями цветов. Словно тут маляр прошел с ведрами разноцветной краски, и она расплескалась справа и слева от дорожки, смешалась, создавая новые сочетания. Или просто отдельные капли падали на лепестки, отчего цветки получались пестрыми.

Гурька сидел на корточках и рассматривал примулы в обрамлении волнистых розеток упругих листьев, когда сзади подкрался Юрка, двоюродный брат.

– Ага-а, Гу-урий Ива-но-вич! – ломающимся скрипучим голосом протянул он. – Цветочки нюхаем? Что, в садоводы-любители заделался? Извольте секатор подать или этот, как его, распылитель? – Юрка шаркнул ногой по дорожке, поклонился, нагнув лобастую голову, прищурив синие пронзительные и насмешливые глаза.

Гурька повернулся, глянул снизу вверх на долговязого братца, без замаха, одним ударом кулака, повалил его и с сожалением покачал головой оттого, что Юрка угодил ногой в примулы.

Тут же из дома выбежала тетя Надя. Она все видела в окно и отвесила Гурьке два, как ей казалось, крепких шлепка. Он снисходительно поморщился. Мать вот тоже так: накричит, огреет полотенцем или шлепков закатит. Совсем не больно. Но чтобы поддержать в ней самодовольство воспитателя, Гурька гримасничает, хлюпает носом, иногда артистично выдавит слезу, а самого душит смех.

– Смотри у меня! – погрозила пальцем тетя Надя и ушла.

Юрка выбрался из грядки, отряхнулся, потер подбородок, на котором зрел синяк.

– А ты, брательник, хоть и Гурий Иванович, да к тому же садовод, парень все-таки что надо. Консенсуса достигнем.

– Чего? – удивился Гурька.

– Иначе говоря, согласия. Москву тебе покажу. Правда, до нее еще на автобусе тарыхтеть и тарыхтеть, но все же ближе, чем до твоего Сорок седьмого.

Гурькиному шахтерскому поселку даже названия собственного не дали, только номер – Сорок седьмой. Там и домов-то настоящих не было – длинные амбары-бараки.

Счастливицков отселили в отдельные домики, которые построили на окраине Сорок седьмого, а остальным расширили жилплощадь, и каждый обзавелся своим выходом, крыльцом и палисадником с гулькин нос. Вот там и густели, и жирели неприхотливые «космические» и «золотые шары».

В двух смежных комнатах окнами в палисад жил Гурька с матерью и дед с бабушкой – родители матери. Отец – шахтер, снабдивший сына чудаковато-старомодным именем, исчез через месяц после его рождения. Мать отчего-то свято верила, что он подался на Крайний Север, дескать, всегда мечтал работать в Заполярье. Гурька не разубеждал ее, хотя знал, что отец живет в Сорок девятом, соседнем поселке, с другой семьей. И однажды парень рванул в Сорок девятый на старом чихающем автобусе, который бороздил унылые, почти безлесные пространства между номерными шахтерскими поселками...

Подмосковье ослепило Гурьку солнцем, весенним, жарким, цветами в огородах, садиках, в ведрах у дороги, разноцветными домиками с зелеными, красными и даже розовыми черепичными крышами. Это все выглядело игрушечным, было похоже на картинку из книжки, особенно по сравнению с унылыми красками Сорок седьмого, где крыши были серо-черные – из толя и шифера. Серый шифер лежал на крышах тех домов, что побогаче. С черными крышами оставались бревенчатые бараки, где и бревна были почти черные от старости. Коротким летом бараки раскалялись, и казалось, вот-вот вспыхнут, как угольки.

У материной сестры, тети Нади, к которой Гурька прибыл погостить на несколько дней и поглазеть на Москву, домик был голубой, почти бирюзовый, с резными наличниками и фронтонами. Такой маленький, легкий и ажурный, словно сказочный, пряничный. Внутри и снаружи чистенький, с уютными закуточками, тюлем на окошках и махровой розовой и красной геранью на белых подоконниках.

В Гурькиной комнате в Сорок седьмом подоконник был пошире, серый, занозистый, усталый пожелтевшими газетами. Там, у окна, между рамами которого торчали пучки рыжеватого мха и где стекла промерзали насквозь, обрастая серебристой корочкой льда, у Гурьки процветало садовое царство.

И упорная герань выстукивала знобливую дробь по стеклу розовыми кулачками соцветий, и маленький фикус скручивал свои мясистые листья в трубочки от холода и недостатка света, и бледно-зеленый укроп на тонких ножках все же бился за существование, оттеняемый мелкой темнолистой петрушкой в деревянном ящичке. Лук топорщил перья, а в особенно сильные ночные морозы, когда от стужи трещали даже стены барака, он сникал, перья смягчели и бледнели. Гурька страдал, гладил липкие, обмороженные стебельки и высаживал новый лук, ругаясь с дедом. Тот из соображений экономии запрещал внуку греть растения лампой.

У тети Нади на окнах торчали увесистыми колючими дубинками экзотические кактусы, развалился на пол-окна остро-пушистый аспарагус, цвел лимон, наполняя ароматом весь дом и выдавая на месте опавших белых лепестков зеленый пупырышек будущего плода. Были еще «денежное дерево», «щучий хвост», бегонии, и даже хурма произрастала в маленьких глиняных горшках рядом с фиалками. Росло у тети Нади все дружно, весело: цветы она любила.

Но Гурьку встретила без особой радости. И он все время чувствовал на себе ее настороженный взгляд. Для нее, выросшей в Сорок седьмом, все, кто был оттуда, хулиганы, шпана и уголовники. Она была счастлива, что вырвалась из мрачного поселка, когда вышла замуж за военного, дядю Митю.

Каждый пришелец из Сорок седьмого становился для тети Нади привидением из сумрачного паутинно-серого прошлого, которое вдруг да потянет назад, в топь, в затхлость и удушливую атмосферу шахтерского поселка. Таким приведением стал для нее и Гурька, коренастый, слегка косолапый, с песочным ежиком волос, с задумчивой улыбкой, со светло-серебристыми, как рыба чешуя, глазами, рассеянными и ироничными. К тому же чумазый из-за въевшейся в кожу угольной пыли. Эта пыль витала в воздухе поселка, да и печи топили все тем же угольком, кормильцем всех жителей Сорок седьмого.

– Деньги в трубу пускаешь, – сердился дед на Гурьку, когда тот норовил сунуть в печь лишнюю лопатку угля для «сугреву» своих подоконных цветов.

Дед и сам оставался чумазым, хотя после каждой своей шахтерской смены парился в бане, не признавая мытья под душем.

Со всей своей мнительностью и подозрениями тетя Надя с порога стала выяснять у Гурьки, какие у него в школе оценки, и допытывалась о его поведении. Племянник утешил ее тем, что он отличник и примерный мальчик. Хотя тетя Надя смутно помнила из писем сестры, которые она читала с пятого на десятое, что Гурька шалопай, каких поискать, и если бы не его тихое, мирное увлечение цветочками, он бы уже скатился на дно и «пошел бы по воле», как выразилась сестра в одном из писем.

Тетя Надя долго еще расспрашивала бы парня о темной стороне его жизни, если бы не дядя Митя. Он вернулся из командировки на следующий день после Гурькиного приезда. Долговязый Юрка тут же вспрыгнул отцу на шею. А Гурька стоял в сторонке с рассеянной улыбкой и теребил штору на окне. Он с опаской смотрел на громоздкую фигуру дядьки, выглядевшую еще более объемной в камуфляжной форме. Дядя Митя вместе с большим рюкзаком заполнил всю террасу.

– А кто это там такой стеснительный дергает бахрому на шторе? – забасил дядя Митя. – Никак Гурий Иванович к нам пожаловали? – Он шутил так же, как Юрка, но нисколько не ядовито.

Он подошел, протянул Гурьке ладонь размером с добрую саперную лопатку, и, когда племянник, расслабившись, протянул руку в ответ, дядя Митя ухватил его под мышки и легонько подбросил, приложив макушкой о потолок.

Когда сели за стол ужинать, Гурька все поглядывал на дядю Митю, на его плечи и руки. «Мой папаша не смог бы меня так подкинуть», – подумал Гурька.

Фигура отца так и стояла перед глазами с тех пор, как парень, спрыгнув с автобуса в Сорок девятом, увидел его и сразу же узнал, почувствовал, что это он. Невысокий, коротконогий, чуть косолапый, отец так же, как Гурька, нервно потирал ладонью кулак и сутулился. В засаленной брезентовой куртке и штанах, заправленных в резиновые сапоги, большие, непропорциональные его росту, будто с чужой ноги, отец ругался с каким-то пьяным тщедушным мужичком и матерился на всю улицу. Гурька вырос не в институте благородных девиц, и вокруг него багрово-зеленым фоном роились ругательства, отборные, крепкие, шахтерские, да и сам Гурька мог дать матерную отповедь кому угодно. Но услышать это от отца...

Он тогда вскочил в автобус, который еще не уехал, и долго глядел в забрызганное заднее стекло на удалявшуюся фигуру отца, уплывающую и расплывающуюся в Гурькиных бессильных слезах.

– Гурька! – вскрикнула тетя Надя. – Ты на скатерть накапал! Где ты витаешь?! Смотри в тарелку, а не на потолок.

Гурька мрачно уткнулся в тарелку.

– Что, трудно у вас там живется? – спросил дядя Митя у парня спокойно, так, словно не слышал замечания тети Нади.

– Везде трудно! – Тетя Надя раздраженно смяла салфетку. – А их хлебом не корми, дай поплакаться на свою судьбу. Как будто другим все легко и просто.

– Надь, ты что-то ни к селу ни к городу. Гурька-то при чем?

– Мама Гурьку подозревает во всех смертных грехах, – встрял Юрка.

– Ты мать не критикуй, – урезонил его дядя Митя.

И разговор за столом потух, и стало слышно, как бьется еще сонная весенняя муха под стеклом плафона, висевшего над столом.

«И они тут ссорятся», – заскучал Гурька. – «Солнце, цветы, свой дом, а люди ссорятся».

Розовый закат с оранжевыми прогалинами вкрался в дырочки тюлевых занавесок на террасу, и желтый теплый свет рассеял напряженность. Запахло свежесваренным чаем, клубничным вареньем. Круглый стол, покрытый красно-зеленой клетчатой скатертью, с дымящимися чашками и сушками в глиняной миске, с прошлогодним клубничным вареньем в стеклянной вазочке и булочками в плетеной корзинке, закружился у Гурьки перед глазами. Все это чудилось сном, теплым, сладким, как клубничное варенье. И жужжание мухи, кружившей над столом, было дремотным, словно и она проникла в сон, прельстившись его приторной сладостью.

Гурька спал, положив голову на руки. Но услышал, что сказал дядя Митя.

– Оставь ты мальчишку в покое. Он радуется жизни, цветами любит. Дожил до двенадцати лет, а тюльпаны впервые увидел. А ты цепляешься. Между прочим, нашего Юрку, «правильно» воспитанного, ничего, кроме компьютера, не интересует.

Этот самый компьютер стоял у Юрки в комнате. Он совсем не походил не те несколько ящиков, которые были в поселковой школе. Одна половина из них не работала, а другая мерцала и дрожала мутным изображением, выдавая непонятные колонки цифр и букв.

Юркин компьютер выглядел так, как, наверное, выглядит пульт управления на космическом корабле. Яркий, громкозвучный, с мягко щелкающей под пальцами клавиатурой. Гурька осмотнительно не лез к этой космической штуке, опасаясь сломать.

Вчера он не один час простоял у брата за спиной, уставившись на экран. Юрка безжалостно расстреливал колченогих монстров и чудовищ-мутантов.

А Гурька думал, что будь у них в поселке хоть один такой компьютер, владелец его загордился бы, а то и брал бы с пацанов плату за разрешение поглазеть на чудо.

Но пока чудо в Сорок седьмой не завезли, любимым развлечением пацанов весной и осенью на единственной центральной улице, которую прозвали «грязелечебницей», было швыря-

ние друг в друга комков жирной липкой грязи. Не останавливали даже суровые родительские внушения за перепачканную одежду. На этой же улице зимой начиналась еще одна забава.

Плотно слежавшийся снег так раскатывали грузовики и расшаркивали ногами прохожие, что дорога превращалась в каток. Грузовики двигались по ней медленно, и мальчишки, сидя на санках, успевали зацепиться железным крюком за кузов и ехали до окраины поселка. Если взрослые заставляли их за этим занятием, то драли немилосердно. И Гурьку дед пару раз взгрел, но отказаться от лихачеств мальчишка не мог.

Сердце замирало, а потом вместе со скрежетом цепляемого крюка срывалось в лихорадочный забег вслед за рифлеными колесами грузовика, скакало и трепыхалось. Полосы санок звенели по накатанной дороге, за спиной бежали и улюлюкали пацаны, в темноте раннего зимнего вечера уносился блестящий накатанный снег с отраженными бликами редких фонарей и фар грузовика. Ветер ледяной волной обжигал щеки, окончательно сбивал дыхание. И когда дышать уже было нечем, а биение сердца сливалось с гудением крови в висках и с автомобильным гудком встречного грузовика, извещавшего водителя о незапланированном пассажира, Гурька отцеплялся. Он еще некоторое время катился по инерции, а сердце разлеталось на много маленьких сердец, которые бились в руках, ногах, голове, животе. Становилось жарко. Вот тут расслабленного лихача можно было брать «тепленьким», пока он глупо улыбался, ткнув санки в сугроб на обочине.

* * *

Свет рассеянный, бледно-желтый. Солнце послало его разведчиком, своим глашатаем, чтобы возвестил о приходе светила. И этот свет все вокруг тронул, растормошил ото сна. Тюльпаны робко приоткрылись, нарциссы повернули к свету венценосные головки на крепких шеях, завернутых в бежевые пергаментные и шуршащие воротники. Примула засутилась, растопырила цветочки во все стороны, будто перешептывалась: «Где? Где солнце?»

Гурька ежился от весеннего ветерка тоже в ожидании солнца. Из рта шел парок: ночью заметно холодало. На огороде лежал клочками туман. Гурька стоял на крыльце в синих в цветочек сатиновых трусах почти до колен, в теткиных галошах на босу ногу и в клетчатой рубашке на плечах.

«Мама, наверное, тоже сейчас вышла на крыльцо, – подумал Гурька. – Только у нас там еще снег, и солнце уже взошло. А улица почти пустая. Разве что шахтеры идут на смену и со смены».

И дед встает, чтобы идти на шахту. Скрипит его кровать, такая же железная, с чешуйчатой звенящей сеткой, как у Гурьки. Но у внука кровать на колесиках, как больничная койка. Он видел такие в районной больнице, где лежал с подозрением на аппендицит. Потом, правда, врачи его с позором вытурили, каким-то образом прознав, что в больнице Гурька скрывался от районных контрольных по русскому языку и алгебре.

...Солнце выпрыгнуло из-за деревьев, выбило у мальчика из глаз сине-зеленые радужные круги. Он улыбнулся, чихнул и пошел будить Юрку.

Тот обещал свозить брата в «Детский мир», магазин, где продаются одни игрушки. Гурьке это было непонятно. В их маленький поселковый магазин тоже привозили игрушки. Они занимали там целую полку, облаканными детскими взглядами, политую ручьями слез. Куклы, мишки, машинки, пистолеты – вот и весь немудреный набор игрушек, чаще всего привозимых из Китая, который был от Сорок седьмого ближе, чем Москва.

У мальчишек спросом пользовались водяные пистолеты. Они, правда, выходили из строя после двух-трех уличных битв, но тогда их пускали в ход в качестве дубинок. Хватали за ствол и пластмассовым прикладом норовили угодить недругу по затылку, в лоб или глаз, огреть по спине или чуть ниже. К концу побоища на улице оставались лежать обломки ядовито-зеленой

или оранжевой пластмассы, а героям доставалось дома за расточительство. Полку с игрушками в магазине вновь щедро поливали слезами и канючили, канючили, выпрашивая у родителей новый пистолет.

Поскольку китайская пластмасса стоила не слишком дорого, пистолет приобретался, и частенько родители сами становились объектом нападения, получив из-за угла ледяную струю в физиономию.

...Но такого магазина, как «Детский мир», Гурька и в самых сладких снах не видел.

Третьяковскую галерею променяли на магазин, и Гурька, открыв рот, вертел головой и плелся в толпе, уцепившись за подол Юркиной куртки. Целый зал магазина был заполнен только мягкими игрушками – от страуса до крота, от верблюда до кролика – пушистыми, самых причудливых цветов.

Юрка направился к отделу с радиоуправляемыми машинками, а Гурька вдруг замер у стенда. Там, затертый между двумя пухлыми лупоглазыми мишками, сидел клоун. С тонкими тряпичными руками и ногами, с таким же мягким и, как показалось Гурьке, теплым тряпичным телом. Ладонки, ступни с круглыми розовыми пяточками и лицо были из податливой резины. Он не мог оторвать взгляд от клоуна и, замороженный, трогал его пальчики на ноге.

– Ну что ты тут? – Юрка вернулся к отставшему Гурьке и дернул его за рукав. – Смотри, потеряешься. – Он заметил предмет Гурькиного вождения и глянул на ценник. – Неслабо! Две тысячи.

– Сколько? – вздрогнул Гурька.

Мать ему в дорогу на всё про всё дала баснословные деньги – пятьсот рублей, красненькую бумажку. А зеленоватую, тысячную, Гурька видел только у матери в руках после получки. И очень скоро несколько зелененьких краснели в пятисотки, таяли и желтели в сотенные, затем в синие пятидесятирублевые, а потом мамин потертый кошелек, пухлый от времени, а не от обилия денег, распирала металлические кругляши монет. Возвращаясь из школы, Гурька все чаще находил в кастрюльке на плите макароны. Макароны растягивались на несколько дней и в прямом, и в переносном смысле. Тянулись скукой и безнадежностью. Но когда терпение было на исходе, мать снова приносила зелененькие тысячные бумажки. Макароны не изгонялись из меню окончательно, но зато теперь у Гурьки могла появиться новая рубашка, книжка и очередная китайская пластмасска-пистолет.



Гурька помотал головой, уставившись на клоуна, стоявшего аж две зелененьких тысячных. Он считал себя «сурьезным» парнем и игрушками особо не интересовался. Правда, до сегодняшнего дня он настоящих игрушек и не видел. Клоун смотрел на него тоскливо и просительно: Гурька знал, что клоун в своей тряпичной душе мечтает поехать с ним в Сорок седьмой.

– Гурий Иванович, пойдем, я тебе лучше мороженое куплю, – сочувственно предложил Юрка, оттягивая брата от полки.

Они вышли из магазина и побрели по солнечной улице, наполненной гулом машин и людским гомоном. Свернули в один переулок, в другой, стесненные приземистыми, обновленными старинными домами и усадьбами. Гурька отгрызал куски от клубнично-бананового мороженого, глотал его ледяным, уже не чувствуя вкуса онемевшим от холода языком.

– А ты небось ботаником будешь? – Юрка ел мороженое не торопясь. – Всё цветочки разглядываешь.

– Может, и ботаником. Но уж точно не шахтером. Один раз с дедом в шахту лазил. До сих пор внутри все дрожит. Ты бы к нам приехал в Сорок седьмой, дед бы и тебе экскурсию устроил. Воспоминаний на всю жизнь хватит.

– Куда там! Мать непустит. Она вашего Сорок седьмого как чумы боится. В музей пойдем?

– В какой?

– Да все равно. А то мать меня съест, если узнает, что мы некультурно шлѣлись по улицам и магазинам.

– Скажем, что были, – пожал плечами Гурька. – А сами еще погуляем. У вас тут солнечно, народу много и одеты все разноцветно. У нас одежду потемнее носят, не маркую, боты резиновые. По нашей «грязелечебнице» чтобы пройти, ничего не сломать и не извозюкаться, надо скафандр надевать и амуницию, как у хоккеистов.

* * *

Фотографии в картонной коробке из-под конфет почти все были черно-белые. Память о Сорок седьмом. Тетя Надя засунула их в самую глубь нижней полки шкафа, но, когда Гурька доставал книжку по цветоводству, коробка вывалилась, и фотографии рассыпались. Мальчик уселся на полосатый половик и стал разглядывать карточки.

Узнал и свой барак, и маленькую мать с тетей Надей. Они стояли у барака. Здесь, на фотографии, еще не было отдельных входов, а двери комнат выходили тогда в общий коридор. Девчонки в ситцевых платьях и в валенках держались за руки, испуганно таращили глаза. На фотографии у тети Нади две светлые косички лежат на костлявых плечах, бледное остроносое лицо и отчего-то слишком длинные руки, достающие аж до валенок, или это валенки слишком высокие, наверное бабушкины.

Теперь у тети Нади каштановые, чуть в рыжину короткие кудряшки на голове, а сама тетя Надя румяная, круглолицая и полная, с короткими и пухлыми руками.

«Почему она так не любит вспоминать Сорок седьмой? – Гурька рассматривал фотографии и пожимал плечами. На черно-белых снимках поселок казался даже красивым. – Она увидела другую жизнь и расстроилась, что столько лет, все детство и юность, прожила иначе. А я? Смогу я вернуться домой прежним?.. А клоуна наверняка уже купили. Здесь народ богатый. Откуда у них столько денег? У нас дед, мать, бабушка работают, и все равно денег нет. Тут платят больше. Но ботаникам везде платят мало. Так Юрка говорил. Да и в Сорок седьмом ботаники никому не нужны. Ну и наплевать! Значит, надо бежать оттуда и искать место, где нужен кто-то, кроме шахтеров».

Гурька сгреб карточки, сунул их обратно в коробку и услышал голос дяди Мити, донесшийся с террасы.

– Что же ты ребят без денег в Москву отправила? Юрка сказал.

Тетя Надя что-то ответила. Гурька не расслышал.

– Ну, знаешь! – сердито воскликнул дядя. – О чем тогда с тобой говорить?

* * *

Дождь шел слабый, будто с неохотой. Специально для Гурьки, чтобы легче было уезжать, чтобы напомнить, как там, в поселке. Может, прямо из Сорок седьмого он сюда добрался, растеряв свой заряд в долгой дороге. Изнуренный и ослабленный, дождь выливал остатки влаги на незнакомый, солнечный, цветочный и пестролюдный город. Он пришел за Гурькой.

Дядя Митя провожал Гурьку на машине своего сослуживца. Дядя достал из багажника большую картонную коробку, заклеенную скотчем.

– Ой, нет, дядя Митя. Мне это тащить? После поезда еще часа четыре до дома на автобусе, а потом пешком. Коробка тяжелая? Что это?

– С этого вопроса и следовало начинать, – улыбнулся дядя Митя. – Откроешь в вагоне, узнаешь, что внутри. А дома не поленишься, черкнешь дядьке письмецо с отзывом и благодарностью. Усёк? И вообще, Гурька... – Дядя взял за влажный от дождя поручень вагона. – Ты парень взрослый, сообразительный. На тетку зла не держи. А сам двигай в правильном направлении. Если что нужно, не стесняйся, пиши прямо мне. Помогу.

Дядя отнес коробку и Гурькину сумку в купе. Вышел на платформу. Проводница копошилась в тамбуре, задевая парня то локтем, то мягким бедром.

Гурька вдохнул сырой московский воздух и вздохнул. Нет, до дома дыхание не задержишь, и в Сорок седьмой Москву не привезешь.

Дядя Митя пожал ему руку.

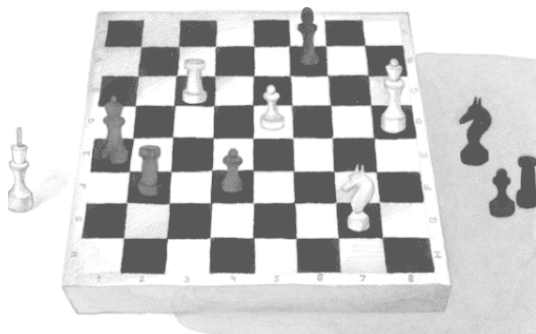
– Ну, бывай, Гурий Иванович. Пиши.

Проводница с грохотом убрала ступеньки, захлопнула дверь. Дождь вдруг усилился, облепил стекла поезда, наверное, чтобы не возвращаться в одиночестве, чтобы добраться домой на крыше и оконных стеклах. Стекло на двери в тамбуре тоже взмокло, запотело, и дядю Митю, поднявшего руку в прощальном жесте, совсем не стало видно.

Гурька сел в купе на свою нижнюю полку. Два соседа-командированных уже выставили на стол бутылку водки и резались в карты. Мальчик перочинным ножом вскрыл коробку, откинул крышку. Коробка была уставлена маленькими пластиковыми горшочками с самыми разными растениями. Тут были и кактусы, и фиалки, и несколько примул, и гиацинт, и еще что-то совсем незнакомое. Отделенные картонкой-перегородкой от горшков, в коробке лежали книжки по садоводству и ботанике и целлофановый пакет. Гурька развернул его и вынул клоуна.

Гурька знал, что к тетке больше никогда не приедет, да и дядю не станет беспокоить просьбами. Но и жить, как раньше, не сможет, бесцельно просиживая у окошка в бараке, глядя на грязную улицу и на бредущих по ней со смены и на смену шахтеров – под тусклым светом редких фонарей и унылым дождем.

Рокировка



Лимонные сухие корочки, острые как бритва. Шелестящие папиросы «Беломорканал», пустые бумажные трубочки с давно осыпавшимися на дно шкафа крошками табака. Запах немного пыльный, кожаный, чуток шерстяной, с привкусом маминых духов.

Борька Алешин часто забирался в шкаф. Прикрыв за собой дверь, он садился на дно, запутавшись в подолах маминых платьев и в штанинах папиных брюк. Даже тонкая щель в неплотно прикрытом шкафу не нарушала глухой, обволакивающей тишины.

Постоянный гул создавало шоссе, проходившее под окнами Борькиной комнаты. Оно текло, отражая последождевой асфальтовой поверхностью фонарный свет и свет автомобильных фар, сине-красный неон магазинных вывесок, проплывающих мимо. А по утрам и вечерам шоссе скрывалось в бензиновом тумане, и разноцветные крыши машин, влекомые течением потока, напоминали опавшие листья инопланетных деревьев – синие, серебристые, фиолетовые, черные. Они сваливались на городское шоссе, наверное, прямо из космического пространства.

В темноте шкафа останавливалось время, и все казалось ничтожным, ненужным, растворялось в мелкие пылинки, повисавшие в узкой полоске света из-за дверцы.



И сегодня Борька, вернувшись из школы, уединился в шкафу. Он не собирался, как обычно, придумывать решение очередной шахматной партии. Борька уткнулся лбом в колени и замер, затих, будто бы и не дышал. Глубоко провалился в собственные мысли. Потом вдруг вскочил, чуть не оборвав все платья с вешалок, и побежал в коридор. Там в платяном шкафу висели старые родительские плащи и пальто. Их давным-давно не носили – они состарились, ткань скукожилась, сжалась. Скорее всего, родители с возрастом утратили юношескую стройность, да и просто плащи вышли из моды – ждали теперь своей очереди на переезд к бедным родственникам. И бедные родственники ждали. А мама тем временем предавалась воспоминаниям о плаще, в котором она познакомилась с папой.

Борька безжалостно сдернул пресловутый плащик с плечиков, разложил его на кухонном столе. Он бы взял отцовский старый плащ, но тот не подходил по размеру.

Притащив с балкона кисточку и темно-зеленую краску, прямо по светло-зеленой ткани плаща Борька стал ляпать причудливые кляксы, по форме напоминавшие острова в Тихом океане. После этого он ожесточенно защелкал ножницами. Через полчаса просушки портняжного шедевра на балконе Борька нацепил его и предстал перед зеркалом. Обрезанный подол был теперь гораздо выше колен, рукава стали три четверти. На местах срезов осталась бахрома. Из плаща вышла длинная куртка, а скорее, даже балахон. Борька выглядел в нем то ли лесником, то ли лешим.

Он махнул рукой на отражение и полез в галошницу за своими старыми туристическими ботинками, в которых ездил с отцом в горы. Под плащ Борька нацепил растянутый мешковатый свитер, надел потертые и прорванные в нескольких местах джинсы.

Раскрашенный плащ сильно вонял краской, но Борька будто и не чувствовал. Он завязал свои длинные, до плеч, волосы в хвостик. Мама очень гордилась Борькиной пышной шевелюрой. Она даже сама мыла ему голову, и ей вряд ли бы понравился такой пренебрежительный хвостик. Да и одежду она подбирала сыну сама. Он носил брюки со стрелкой, выглаженные рубашки, джемпера, а иногда пиджак и галстук.

Теперь Борька пошел гулять в самодельном костюме, ни на что не похожем. И сразу почувствовал на себе удивленные, заинтересованные, возмущенные взгляды. Поначалу Борька

застеснялся и ссутулился, но потом решил не поддаваться смущению, расправил плечи и постарался выглядеть независимым и спокойным. И чем усерднее он старался, тем загадочнее и таинственнее выглядел со стороны. Казалось, вот-вот вытащит из-под полы своего балахона если не гранатомет или бластер, то уже наверняка пистолет.

Насмешек, которых Борька опасался, он не услышал. И даже пальцем у виска никто не покрутил, разве что у Борьки за спиной.

Дома он свернул одежду в узелок и спрятал под кровать.

На шахматном столике у окна отбрасывали величественные тени шахматы в красном свете закатного солнца. Белый король в массивной шапке, увенчанной крестом, с трепетом замер, ожидая от Борьки мудрого решения своей судьбы. Черный король, напоминая тень белого короля, точил саблю и натравливал свою свиту на белых.

Борька подошел к шахматам, подержал черного ферзя в руке и поставил на ту же клетку.

«Как странно... – Борька задумчиво потер нос. – Все думают, что черные и белые – враги. Может, черные – это просто тень белых? Ведь они совершенно одинаковые, отличаются лишь цветом. Черные побеждают, если ошибаются белые, – белые оступились, и черные заняли их место. И наоборот. Тень исчезает, когда белые делают все правильно. Солнце светит, оказывается прямо над ними, и теней больше нет. Но почему тогда черные – это тень, а не наоборот? Ведь и в жизни сразу сложно определить, кто белый, а кто черный. Белый снаружи – доброжелательный, отзывчивый человек – вдруг совершает предательство, а другой – мрачный, грубый – на самом деле всем помогает и добрый в душе. И вообще не бывает однозначно добрых и злых – белых и черных. А если смешать белое и черное, получится серое. Что же выходит – все люди серые?... И я? А серые, значит, безликие?»

Борька сгреб шахматы, собрал их в кучку в центре доски и перемешал. Белое осталось белым, черное – черным. Не так просто их смешать. И черное неприступное, да и белое, несмотря на свою кажущуюся белоснежную незащищенность, умеет проявить твердость.

Шахматные фигуры Борька расставил по местам и вздохнул. Солнце окончательно исчезло за домами и потихоньку засасывало вслед за собой дневной свет. Скоро он перестанет быть светом и превратиться в ночь. Шоссейная река гудела надрывно перед коротким ночным затишьем.

Борька услышал, что пришли родители, но из своей комнаты не вышел. А они его и не беспокоили. Не выходит, значит, занят. Уроки делает, шахматные партии решает.

Мать не вмешивалась в дела Борьки. Разве что занималась его внешностью, прической и одеждой, да еще правильным питанием – супы, каши, котлеты.

Сегодня вечером Борька сидел в комнате и прислушивался. Вдруг все-таки позовут. Ужинать. Вместе. Но Борьку не беспокоили...

Он рано лег спать. Сон не шел. Он, похоже, вылетел в открытое окно и растворился в автомобильном потоке, уплыл вместе с инопланетными опавшими листьями.

«Благополучие... Благополучие... – Борька смаковал это слово. – Получить благо. Я родился в хорошей семье и получил это самое благо. Все во круг считают меня благополучным. Еще бы! Учусь хорошо. По шахматам уже соревнования выигрываю. Брючки и рубашка отглажены, пиджачок... Алгебра и геометрия всегда сделаны на пятерку, вернее, на шестерку. Все в классе просят списать. И я даю! Это не проявление необыкновенной щедрости. Просто с детства учили не быть жадным, а иначе – „жадина-говядина, турецкий барабан...“. А других, которым делиться нечем, учили брать у тех, у кого есть что взять, а если вдруг не дают, кричать громко и убедительно: „Жадина-говядина...“ Теперь смешно обижаться на „турецкий барабан“, а привычка все отдавать не пропала. Хотя так бывает жаль решения задачи, над которой просидел несколько часов. А самое неприятное, когда на уроке вызовут не меня, а того, кто списал. И для всех он станет автором оригинального решения. А если вдруг следом вызовут меня, то как я буду выглядеть с точно таким же решением? Сидишь, нервничаешь: лишь бы не

вызвали. Страдаешь за собственный ум. Вот уж где „горе от ума“! – Борька вздохнул и повернулся на другой бок, но спать все равно не захотелось, разве что подушка была прохладнее. – Отчего те, кто списывают, не волнуются, не комплексуют по этому поводу, не опасаются унижительного разоблачения? Может, когда нечего терять, то и переживать не о чем? Вот уж где серость так серость. Ни самолюбия, ни тщеславия, ни целей, ни надежд. Беспечность, безалаберность, лишь бы проскочить, лишь бы пронесло, а то, что будет потом, так ведь это будет потом. Наверное, из этих и вырастают такие, как дядя Слава».

Сослуживец отца дядя Слава поразил Борьку. Не внешним видом. Он был самым обычным: среднего роста, средней внешности, даже симпатичный, голубые глаза, сияющие, правдивые. Дядя Слава считал, что все вокруг ему должны, и только об этом и говорил. Николай Иванович должен был дать ему должность начальника отдела и почему-то не дал; Сергей обещал дать денег взаймы, но не дал: у него, видите ли, ребенок родился и ему самому деньги нужны; а брат Иван обязан принимать его со всей семьей на своей даче и кормить за свой счет, но отчего-то не хочет. А у брата Ивана своих детей четверо.

Пока дядя Слава изливал душу, Борька наблюдал за реакцией отца. Тот к концу ужина был вишнево-красный и больше дядю Славу домой не приглашал. Борька знал, что и на работе, заведя дядю Славу, отец припускался по коридорам своего НИИ, скрываясь или в туалете, или в кабинете Николая Ивановича.

«Вот он, дядя Слава, наверняка из тех, кто в школе списывал, в институте сдувал, учился по шпаргалкам, даже в НИИ работает, но выше должности младшего научного сотрудника не поднимается и, как говорит отец, не поднимется. Он всю свою жизнь списал, а своей не прожил. Но вместо того, чтобы опомниться хоть сейчас, он все ждет, что кто-то придет, поможет, даст, подарит.

В школе поощряют списывание, вернее, учителям это все равно, безразлично. „Списываешь – списывай, тебе жить“. А потом удивляются, что у нас вырастает столько несамостоятельных, никчемных людей. Работать толком не могут, знаний ведь никаких, да и жить не научились. Помогите им, люди! Паразиты! – Внутри Борьки все клокотало, он сам себя продолжал накручивать. – А те, кто все своим горбом добывают, в конечном счете окажутся в виноватых, если, став взрослыми, перестанут помогать паразитам. „Ах, богатенькие, безжалостные! Ну конечно, богатство глаза застит“. А то, что деньги богатым дали не от рождения, а после долгих лет работы и отдавать их кому попало нельзя, – это никого не волнует. Так же будут вопить: „Жадина-говядина...“ – только другими, „взрослыми“ словами. Да еще подстерегут в темном переулке, треснут по голове камнем и отберут деньги, а то и просто так треснут, не из-за денег – из принципа, чтобы „знал гад, что делиться надо“».

Борька снова вздохнул, и притихшая за окном шоссейная река наконец отпустила из своих вод его сон. И Борька уснул.

* * *

Утром он дождался, чтобы родители ушли первыми, и нарядился в свои самодельные одежды. Борька опоздал в школу впервые за все время учебы. А биологичка Лилия Сергеевна словно бы и не заметила.

– Алешин, садись скорее на свое место.

Она только чуть приподняла брови, удивившись Борькиному облачению, – он ведь так в плаще и вошел в класс. И удивила-то ее не его одежда, а то, что именно *он* так вырядился.

– Опять твой брат приехал? – шепнул сосед по парте Гошка Кудрин.

Борькин брат приезжал в прошлом году и две недели учился в их школе. Он поразил всех своими экстравагантными нарядами, нелепыми по форме и вызывающей окраски. Борька догадался, что Гошка заподозрил влияние брата на сегодняшний Борькин костюм.

– Димка не приезжал.

Кроме Гошки, никто ничего не спросил. Поглядывали удивленно, и только. На контрольной по алгебре к Борьке повернулись головы сразу нескольких списывальщиков. А Борька лишь отрицательно покачал головой и закрыл тетрадь ладонью от обладавших особенно острым зрением.

– Что, и ты не смог решить? – спросили они Борьку после контрольной в надежде, что это осечка, временный сбой, а завтра машинка для списывания вновь заработает бесперебойно.

– Нет, я все решил, – не ожидая от себя такого равнодушного тона, ответил Борька.

– Ты чего, Алешин? С дуба рухнул? – Гошка Кудрин, еще ничего не понимая, панибратски толкнул его локтем в бок.

– Благотворительная контора закрыта, – непонятно для Гошки и троих страждущих одноклассников ответил Борька и тут же с усмешкой пояснил: – Списывать больше не дам.

– Почему? – искренне возмущился и поразился Костяка Подставкин.

– Не хочу, – весело откликнулся Борька.

– Жаба душит? Жалко? – сжал кулаки Стасик Горовой.

– Просто не хочу, – еще более весело и с облегчением ответил Борька.

– Жадина! А в глаз не хочешь? – Стасик сжал кулаки, но к Борьке не полез.

Потому что Борька Алешин был не subtilный отличник, не очкарик с шахматной доской под мышкой, а вполне крепкий, широкоплечий парень, с обычно нахмуренными бровями, с гривой волнистых пшеничных волос, с твердым взглядом сочно-коричневых глаз, темнеющих в тени нахмуренных бровей. И не только взгляд у него твердый, но и кулаки. Мальчишки поняли это давно. Стали было приставать к Борьке, когда он три года назад перевелся к ним в школу, но получили отпор. Спустя три года Борька возмужал. Да еще и эта странная его сегодняшняя одежда – что-то вроде боевой раскраски – настораживала. Мальчишки, перешептываясь, отошли.

Борька забрался на подоконник в коридоре и задумался, глядя на весенний школьный двор. Под руководством Лилии Сергеевны одни подметали плиты двора, а другие граблями прочесывали землю под деревьями.

Скоро между плитами пробьются одуванчики и подорожник. Они будут оберегать двор все лето. Ни ботинки, ни сапоги не потревожат их. Разве что коснется цветков одинокая пара легких босоножек, красных, застегнутых высоко на щиколотке, как у *нее*. Желтые головки одуванчика закачаются от этого прикосновения, но скоро опять замрут в безмолвии двора.

Она сегодня вообще не смотрела в сторону Борьки. Он несколько раз глянул на ее затылок в ореоле пушистых золотистых волос. Они выбивались из хвостика и колыхались над головой, подсвеченные весенним солнцем, лившимся из окна, у которого *она* сидела.

* * *

Борька открыл шкаф. Постоял, вдыхая знакомый запах – лимонные корочки, беломорины и мешочек с лавандой. Постоял и закрыл.

Шахматы со вчерашнего дня замерли в стройных неподвижных рядах в ожидании своего шахматного бога, который переставит белую пешку, и начнется битва. Первый ход повлечет за собой следующий, и так до победного конца.

Борьке нравилось быть богом, пусть хоть шахматным. Решать и за белых, и за черных, кому побеждать и жить, а кому погибать во славу короля и во имя бога.

Передвигая фигуры, каждая из которых была на мягкой скользящей подкладке, Борька иногда в задумчивости отрывал взгляд от шахматной доски и глядел в окно.

Вечная железная река так и текла.

«Она так и будет катить свои машинные волны, – подумал Борька. – И даже когда меня вдруг не станет. В этой комнате кто-то другой будет стоять у шахматного столика, переставляя фигуры этой вечной игры. А может, и дома нашего тогда не будет, а шоссе так запрудят машины, что выйдет вселенский железный потоп. И все машины во всем мире встанут, и наступит Тишина». Борька провел ладонью по лицу и вернулся мыслями и взглядом к шахматам.

Король как будто напрашивался на рокировку. Борька всегда чувствовал желания фигур: это была больше чем логика игры – интуиция игрока. Сейчас белому королю хотелось спрятаться. Уединиться в углу доски, за коренастыми пешками. Борька сделал рокировку. И когда проносил короля мимо ладьи, вдруг подумал:

«Я ведь тоже сделал рокировку. Только я не спрятался в углу поля, а как бы переселился в другое тело, принял другой образ и оказался в центре доски. Все думают, что моя одежда сделала меня иным, и воспринимают меня соответственно, вернее, не воспринимают всерьез. А я из-под забрава новой одежды наблюдаю за всем прежним взглядом короля и оцениваю все своим прежним разумом.

Они не поймут, да и *она* никак ко мне не переменилась. А если снова стать самим собой, одеться как прежде, словно ничего не происходило? Только списывать все равно никому не дам».

– Боря, ты дома? – Мать постучалась к нему в комнату и вошла, не дожидаясь ответа.

Она была в бежевом брючном костюме и даже при галстук рубинового цвета, с коротко стриженными волосами, окрашенными в разные цвета – были и совсем белые пряди, и медные, и словно мраморные. Мама работала в туристической фирме. Каждое утро она брала под мышку коричневый лакированный портфельчик и до позднего вечера пропадала на работе. Она была деловая от носков замшевых туфель до разноцветных прядей на макушке.

– Мне звонила Лилия Сергеевна. Сказала, что ты поразил ее до глубины души своим сегодняшним демаршем.

– Глубина души у нее, наверное, очень большая, – усмехнулся Борька. – Во всяком случае, по выражению ее лица я особого удивления не заметил.

– И тем не менее. Что это ты так экстравагантно оделся? Испортил мой плащ. Проще было попросить, и я бы купила тебе одежду, какую бы ты захотел. Я считала, что в школу и вообще в присутственные места надо ходить в строгой классической одежде. Но если у тебя другая точка зрения... Я ведь никогда не навязывала тебе свое мнение.

– Мам, считай, что это был психологический опыт, тест. Завтра я оденусь как обычно, и все вернется в привычное русло.

– Что с тобой? – Мать подошла, заглянула в глаза. – Ты как будто не в своей тарелке.

– Нет. Я остаюсь самим собой даже в необычной одежде.

– Все шутишь. Но все-таки, с тобой что-то не так?

– Ты спрашиваешь или констатируешь? – прищурился Борька.

– Борь, это все игра слов!

Мать замолчала, прошла по комнате. Тронула шапку белого короля с крестом.

– Борька, ты у нас самостоятельный и, как мне кажется, самодостаточный. Только смотри не заиграйся. Многие считают, что шахматы – это модель жизни, отражение жизни. Я не знаю, сколько существует вариантов шахматных партий. Допустим, миллион. Но в жизни, я знаю, всегда будет миллион первый вариант, которого ты не сможешь предусмотреть.

Мать положила короля на шахматную доску и ушла.

* * *

Борька рано вышел из дома. Сел на заборчик у дороги и смотрел, как русло шоссе рекой, освещенное будто пыльным рассеянным утренним светом, по цветной капле наполня-

ется железным потоком. И когда поток уже бурлил вовсю, Борька побрел в школу, одетый в отглаженные брюки и рубашку.

Она подошла к нему до урока в коридоре и впервые заговорила с ним.

– Ты вчера забавный маскарад устроил. Не ожидала от тебя.

Борька улыбнулся, воспринимая это как комплимент. Вот *она*, рядом. И говорит с ним. Значит, удалось и все было так просто?

– Я хотела тебя попросить... – Она замялась. – Ты дашь мне алгебру списать?

Борька помолчал, вглядываясь в ее такое изученное им лицо.

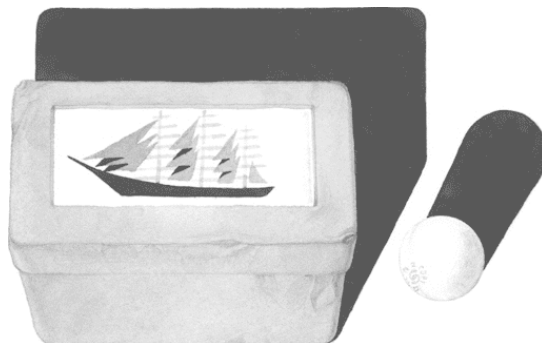
– Я не даю списывать, – и добавил через мгновение: – Никому.

...Острые сухие лимонные корочки кололи ладонь, которой Борька опирался о дно шкафа. От табачного запаха и аромата духов щекотало в носу.

В тишине шкафа Борька был спокоен, почти равнодушен. Белые и черные – они все были в его голове, в его воображении и двигались в соответствии с его желанием и логикой, твердой и неумолимой.

Вот только серый цвет не был в его власти, и *она* тоже. Борька на мгновение задумался не о шахматах, но очень быстро в его мозгу снова привычно, успокаивающе стали роиться беспроегрываемые варианты шахматных партий.

Отзвук в пустоте



Небо упало на землю и полоскало свое отражение в разливе. Черные голые деревья топорщили из воды корявые ветви. Измученные долгой зимой, а теперь и половодьем, деревья замерли в безветрии, застыли в этих своих корявых позах.

Резиновая лодка скользила по воде бесшумно, но Петьке Самычеву, который сидел в ней, упершись озябшими руками в бархатисто-теплые резиновые борта, казалось, что лодка недвижима. Она никогда никуда не доплывет, загипнотизированная темнотой и парализованная Петькиным страхом. Так и проторчит посреди разлива до рассвета, хотя и в том, что рассвет когда-нибудь придет в сгустке ночи, Петька уже сомневался. А если все-таки солнце выскочит, то оно осветит и лодку, и всех, кто в ней, и их темные намерения. И тогда Петька пропадет. Уж лучше увязнуть, сгинуть в темноте, чем дожидаться такого разоблачительного рассвета.

Чужой, пришлый человек сидел в лодке перед Петькой, подгребая маленьким веслом. Он правил в темноте одному ему известным путем, если на воде бывают пути и тропинки. След от лодки, невидимый ночью, стягивался быстро, и вода скрывала все.

С правого борта надвинулось что-то высокое, с зубьями, как будто гребень огромной ящерицы. Лодка соприкоснулась с этой машиной, зашуршала, и Петька чуть не вскрикнул. Гребень ящерицы оказался обыкновенным забором-штакетником.

Лодка протиснулась в заполненный водой двор. Темная кромка воды рассекала окна первого этажа пополам. Двухэтажные дома в поселке были редкостью и принадлежали богатым. Окна второго этажа чернели отраженными в стеклах небом и водой, пустотой покинутого дома.

Сердце колотало у Петьки в горле и в ушах, словно разорвалось уже от страха и любопытства и залило Петьку своим тикающим содержимым от пяток до затылка.

– Чего окаменел? Дай лом! Живо!

Петька вздрогнул и стал шарить по дну лодки. Подвернувшийся под руку лом показался холодным ужом.

Рамы хоть и не были под водой, разбухли, дерево стало рыхлым и неподатливым. Из-под лома вылетали мокрые волокна, и некоторые из них шмякнули Петьку по щекам и по лбу. Звякнуло стекло, бесшумно скользнуло вниз, в воду. С всхлипом распахнулись рамы.

Стоя в лодке, Петька едва мог заглянуть в открытое окно. Он посмотрел в темноту, коснулся пальцами влажного подоконника и отчетливо понял: еще один шаг, его подсадят две крепкие руки и пути назад уже не будет.

Но темнота за этим одним шагом манила, протягивала мягкие серые ладони, щекотала Петькино любопытство паутинными пальцами, прохладой и пустотой комнат чужого дома.

И почему так заманчивы тайны чужих домов? Наверное, так же, как тайны человеческих мыслей и душ. Если и попытаешься заглянуть в чужое окно, в лучшем случае шторы задернут, в худшем – помоями обольют. Так и с человеком. Хлопает ресницами, а в душу через блестящую

оболочку глаз, синих, серых, черных, зеленых, не заглянешь, как ни старайся. Разве что свое отражение увидишь в чужих глазах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.